

СЕРГЕЙ МАКСИМОВ

**ГОЛУБОЕ
МОЛЧАНИЕ**

РАССКАЗЫ И ПЬЕСЫ

Москва, 2018

УДК 821.161.1
ББК 83.3(2Рос=Рус)
М17

Максимов, С.

М17 Голубое молчание / С. Максимов. – М. : Т8RUGRAM,
2018. – 116 с.

ISBN 978-5-521-06374-1

Сергей Васильевич Максимов (1831–1901) – знаменитый русский путешественник, писатель, этнограф, диалектолог и знаток народного быта.

«Голубое молчание» – самый известный сборник художественных произведений писателя, в каждом из рассказов которого проявляется настоящая любовь автора к человеку, равнодушие к его жизни и проблемам.

Будучи исследователем души русского народа, Максимов смог наделить свои произведения глубоким психологизмом и правдивостью. А благодаря простому и необычайно образному языку, эта книга увлечёт каждого читателя.

УДК 821.161.1
ББК 83.3(2Рос=Рус)
ВІС FC
BISAC FIC004000

Содержание

РАССКАЗЫ.....	5
ГОЛУБОЕ МОЛЧАНИЕ.....	5
ТЕМНЫЙ ЛЕС.....	7
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО.....	14
В СУМЕРКАХ.....	18
ПОЭМЫ.....	54
ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ.....	54
ТАНЮША.....	59
ЦАРЬ ИОАНН.....	67
ПЬЕСЫ.....	73
В РЕСТОРАНЕ.....	73
СЕМЬЯ ШИРОКОВЫХ.....	77

РАССКАЗЫ

ГОЛУБОЕ МОЛЧАНИЕ

Брату Николаю Витову посвящаю

Зима. Темная декабрьская ночь. Морозная вьюга шуршит по двору сухим снегом, раскачивает обледенелую веревку колодезного журавля и скрипит ею тонко, певуче, однообразно. В избе сумрачно и холодно, и на окнах нет снежных узоров. Ветер колеблет пламя лиловой лампадки в углу перед образом, маленькой и жалкой, тускло освещающей черные бревна сруба и темный лик Богоматери. Круглая чернильная тень от лампадки падает на пол, отсекает угол стола, кусок лавки и половину длинного топчана, на котором лежит, укрытая тулупом, четырехлетняя дочь хозяйки. Она часто и густо кашляет и шевелит перед личиком тонкими и белыми, как известь, пальцами. Воздух сырой, тяжелый, пахнет соломой и дублеными кожами. Где-то за рекой глухо и ровно вздыхает артиллерия. Там кто-то кого-то бьет, кто-то кого-то рвет на куски...

Я лежу на широкой лавке в темном углу избы, кутаюсь в рванный полушубок и смотрю на девочку. Личико у нее нежное, тонкое, прозрачное, воспаленные красные губки не то вздрагивают, не то что-то шепчут, и вздрагивают длинные ресницы над закрытыми глазками. С вечера мать хотела положить ее вместе с другими детьми на печь, но побоялась — кто знает чем больна дочка — и положила на топчан возле стола. Я ей сделал игрушку, ветряную бумажную мельницу на палочке, но игрушка не занимала девочку, ни один огонек не вспыхнул в ее покрасневших больных глазках, и ненужная игрушка валяется теперь на полу среди мусора.

— Прохожий, а прохожий... — шепчет с полатей хозяйка, — а что после смерти человек чувствует что-нибудь?

— Наверное не чувствует, — тихо и лениво отвечаю я, — а, быть может, и чувствует... не знаю.

— И уж не помнит ничего?

— Наверное не помнит...

Я зашел мимоходом в эту избу, переночевать, на рассвете я возьму свой мешок и пойду дальше, и я еще много раз буду ночевать в таких же бедных крестьянских избенках, но я уже знаю, что эта ночь, в этой избе останется надолго в моей памяти, быть может, навсегда, навеки, до конца дней моих. Я потому так думаю, что ночь эта кажется мне давно пережитой, знакомой, словно я совершаю второй круг жизни, точно такой же, как и первый, с теми же остановками на пути.

— Мама, синие звездочки... — тихо лепечет девочка.

— Спи, родная, спи, Бог с ними, со звездочками, нету их...

— Звездочки, мама...

Девочка перестает шевелить рученками, кладет их поверх тулупа, поворачивает льняную головку к окну, с тихим хрустом подминает сенную подушку, и засыпает. В окно бьют снежинки, скользят по стеклу и пропадают за подоконником. На печи шуршат тараканы и посапывают спящие дети. Их трое: два мальчика и девочка. Все они худенькие, бледные, с большими животами и с грустными не детскими глазами. Прикрытые тряпьем, они тесно жмутся друг к другу, вскри-

кивают во сне и высовывают с печи босые грязные ножонки.

Двор небольшой, запущенный, без хозяина. Хозяин второй год на фронте, и второй год нет от него весточки, — как в воду канул. Хозяйка еще молодая, но опустившаяся и отупевшая от нужды и горя. Живет она как-то равнодушно, ровно, работает много, но нехотя, словно на чужих. Завшивевшие и голодные ребятишки часто болеют, она привыкла к этому и понимает, что иначе и быть не может при ее бедности, примиряется и с этим.

Проходит час, другой, а мне, несмотря на усталость, всё еще не хочется спать. Вьюга стихает и за черными блестящими окнами не видно больше танцующих снежинок и не слышно немолчного скрипа веревки на колодезном журавле. Хозяйка спала, а теперь проснулась, беспокойно ворочается на полотах и вздыхает. Девочка спит тихо, мирно, не шевелясь. Хозяйка свешивает с полатей голову и долго, внимательно смотрит на меня.

— Не спишь?

— Нет.

— Чего ж ты?

— Так...

Она молчит, что-то обдумывает, мучительно морща лицо. И вдруг спрашивает, порывисто и страстно, всем существом своим:

— Прохожий, а почему война?

— Не знаю.

— Может — землю хотят?

— Быть может.

— Получат?

— Вряд ли...

Хозяйка перелезает с полатей на печь и осторожно, чтоб не разбудить детей, спускается на пол и долго, не отрываясь, пьет из деревянного ковша ледяную воду. Широкая исподняя рубашка окутывает ее высокую фигуру, точно саваном, длинные волосы беспорядочно падают на плечи и грудь, вся она какая-то призрачная, неземная. Напившись, она бесшумно подходит к топчану, наклоняется над дочерью и неестественно быстро выпрямляется.

— Прохожий, а прохожий... А ведь дочка-то отошла.

— Отошла?

— Отошла.

Я сбрасываю полушубок и подхожу к топчану, не замечая на полу игрушечной мельницы и наступая на нее босой ногой. Девочка лежит на спине, отвернув в сторону голову, уже заочневшая. Глаза прикрыты длинными ресницами, неподвижными, черными. Левая рука вытянута вверх тулупа, пальцы правой руки чуть согнуты и прижаты к нижней губке полуоткрытого рта, словно они зазябли, и она хотела подуть на них, отогреть, да потом забыла и уснула. Лицо спокойное, торжественное, слегка нахмуренное, и при взгляде на него сразу видно, что это не спящая, а мертвая, мертвая... Хозяйка крестится, неловко и торопливо, у нее дрожат губы и подбородок.

— Поможешь что ли завтра гробик-то сколотить?

— Помогу.

Уже кричат третьи петухи, и в избе все крепко спят. Масло в лампадке выгорело, и она давно потухла. Метель стихла, стихла и орудийная стрельба, вывез-

дило, изба полна тонкого голубого лунного света.

Маленькую покойницу покрывает суровая простыня, под которой отчетливо проступают контуры тела. На груди лежит тяжелое медное распятье и, как иглы льда, застыл на нем лунный свет. Теперь мне хорошо виден похожий на виселицу колодезный журавль с обледенной веревкой и палисадник, с шапками снега на столбиках, видны и утопающие в сугробах избенки, и меловая бескредная церквушка, что стоит за оградой посреди кладбища, и занесенная снегом, без единого следа саней, зимняя дорога, легкой синей тенью убегающая в безбрежное — без конца и без края — поле, ясное и чистое за околицей и мгlistое вдали... Всё неподвижно, всё спокойно, всё окутано тишиной и призрачным сиянием. И ничто не нарушает — да и не может нарушить — этой ледяной тишины, этого тайного молчания, этой единственной, вечной свободы, от которой потому и бегут, потому ее и боятся, что она вечная.

ТЕМНЫЙ ЛЕС

1.

... Лес, лес, лес. Кажется, конца-краю нет лесу. Лес странный: то чернолесье — невысокие фиолетовые осинки вперемежку с корявыми березками, то — могучие, до неба, оранжевые сосны, окруженные кустами едко-пахучего можжевельника. Над лесом лениво, почти неприметно, низко тянутся дымные тучи. Кругом — мертвая, холодная тишина. Лишь где-то далеко, одиноко и монотонно свистит клёт.

«... Купи-камушки... купи-камушки...» — мысленно переводит этот посвист Ириков и порывисто вскакивает.

— Пора! Вставай!

Носком сапога он ткнул задремавшего было Ваську-Туза. Потягиваясь, Васька-Туз неторопливо встал, привычным движением повесил на шею автомат и зевнул. Был он шупл, низкоросл, большеголов, в улыбке показывал мелкие черные зубы, на вислых плечах нелепо пузырилась армейская гимнастерка, перехваченная широким ремнем, с болтавшимися на нем гранатами. Лихие, бандитские глаза его, окруженные сеточками морщин, смотрели весело, задиристо.

Вор, налетчик, с солидным уголовным прошлым, он слыл в партизанском отряде за отчаяннейшего сорви-голову, шел на самые рискованные предприятия и не раз уходил от смерти благодаря бесшабашной храбрости. Именно за это — за бесшабашную храбрость, за звериную жестокость, за презрение ко всему Божескому и человеческому, — Ириков и выбрал его себе в спутники. Теперь ему нужен был только такой человек. Не жалость и Бога нес с собой Ириков, а — смерть. Даже выдавший виды Васька-Туз с опаской и легкой тревогой поглядывал на него.

«... Купи-камушки... купи-камушки...» — свистел клёт.

Ириков рванулся и тяжело зашагал, приминая валежник армейскими сапогами. И снова, как дурной сон, хлынули в его распаленную голову воспоминания, не дававшие покоя ни днем, ни ночью...

2.

... Плещется голубая под сияющим летним солнцем вода о борт пристани,

плавно поднимаются и опускаются на гладких волнах радужные круги нефти. Свежий ветерок треплет красный вымпел на мачте деревянной баржи, пришвартованной к пристани. Кружат над рекой чайки, камнем падают в воду...

Взмокшие от пота грузчики «шабашат». Утомленные, взволнованные ладной, спорой работой, они вповалку лежат в тени ящиков с кладью, жуют огурцы с хлебом, лениво, но весело переговариваются.

... Раз у тетеньки Глафиры я спал,

На пуховой на кровати лежал...

запеваает кто-то тенорком, и сразу, вразброд, нестройно, но лихо подхватывают несколько голосов задорную песню.

... Захотелось мне водицы испить

— Стал у тетеньки тихонько просить...

Ириков лежит у крайнего ящика и прислушивается к песне. Он без рубашки, его дочерна загорелое тело по пояс — в тени, ноги в широких парусиновых штанах — на солнце. Ему всего восемнадцать лет, и он радостно, всем существом своим ощущает свою молодость. Радостное чувство усиливается еще и от того, что он знает, что осенью его ждет институт, ученье, студенческая жизнь...

... Стала тетенька мне воду давать,

Ненароком прилегла на кровать...

неслась песня с присвистом и уханьями.

— Матросик, а, матросик!... — вдруг прокричал кто-то над лежащим Ириковым.

Он привстал. Прямо над ним, против солнца, стояла девочка лет 11-12, худенькая, в легком коротком платьице. Оттого, что она стояла против солнца, виден был лишь ее силуэт и светлые, как сияние, блики на спутанных волосах, густых и непокорных.

— Чего тебе? — лениво осведомился Ириков.

Девочка перешагнула через его ноги и сразу, облитая солнцем, сверкнула милой улыбкой и серыми веселыми глазками. Прикрыв подолом заголившиеся колени, она протянула худенькую загорелую руку и коротко предложила:

— Матросик, купи камушки...

И разжала грязный кулачок. На маленькой потной ладони оказалась грудка разноцветных речных камешков.

— А зачем они мне? — удивился Ириков.

— А это камушки не простые... Это камушки, что счастье приносят. Купишь?

Она чуть нахмурила ровные, как цепочки, брови, и в глазах ее, прямо устремленных на Ирикова, промелькнула какая-то наивная, детская хитреца.

— Куплю, — улыбнулся Ириков и звякнул мелочью в кармане. — Сколько хочешь?

— Сто тысяч! — выкрикнула девочка и вдруг, вскочив, закружилась, раскинув руки и приговаривая:

— Не продам... не продам... не продам...

И так, кружась, исчезла за мешками с солью.

Студентом последнего курса Ириков приехал на каникулы в родной город Смоленск. Вечером, хорошим летним вечером он стоял в очереди за билетом в кино. Было воскресенье. Народу было много, и когда девушка, стоявшая перед ним, подошла к кассе, то кассирша вдруг объявила, что билетов больше нет и

захлопнула окошечко.

— Ну вот, всегда так... — огорченно сказала девушка, ни к кому не обращаясь; повернулась, рассеянно взглянула на Ирикова и отошла от кассы.

Бессознательно, автоматически Ириков тоже повернулся и пошел за нею. Где, когда он видел это милое лицо, эти серые глаза под ровными, как цепочки, бровями? Он мучительно пытался вспомнить и — не мог. Но вспомнить хотел обязательно, во что бы то ни стало.

Девушка подошла к танцевальной площадке и остановилась, закинула за спину руки с сумочкой и, легонько покачивая ею, стала наблюдать за танцующими. Стройные, загорелые ноги в белых носочках и в легких туфельках-босоножках, она поставила как-то чуть носками внутрь, отчего от всей ее невысокой, ладной фигурки в цветном ситцевом платье повеяло такой откровенной девичьей чистотой, что Ириков невольно улыбнулся и закусил губу. И как-то сразу вспомнил всё...

— А я вас знаю... — сказал он, подходя к ней и смотря на нее сверху вниз.

— А я вас не знаю... — ответила девушка и отвернулась.

— «Матросик, купи камушки...» — тихо и раздельно сказал Ириков.

Она порывисто повернулась, густо, до слез покраснела и долго и внимательно посмотрела на Ирикова. Потом светло улыбнулась, сверкнув полосками мелких чистых зубов.

Так началась любовь.

Та хорошая, настоящая, сильная любовь, что связывает людей с первой встречи навсегда, навеки...

Со свадьбой медлили — ждали окончания Ириковым института. Прошли лето, осень, зима, весна. На конец июня назначили свадьбу. А двадцать второго началась война. Лейтенант Ириков был отправлен на средний участок фронта. Твердо, с первых дней войны Ириков знал, что, не жалея себя в боях, он все-таки останется жив — ради нее. И остался жив. Раненый, в бессознательном состоянии попал в плен. Выздоровев, бежал из плена и пробрался под самый Смоленск — в партизанский отряд Грибова.

И здесь, в дремучем лесу, в сорока километрах от родного города, в первый же день по прибытии в партизанский отряд — жизнь кончилась...

3.

... Хрустит под ногами валежник. Стеной взметнулся дремучий лес к дымному, скучному небу. Васька-Туз жует сухарь, смотрит на широкую спину идущего впереди Ирикова, на покачивающийся, туго прижатый к плечу автомат и думает то о предстоящем задании — взорвать смоленскую комендатуру, то об Ирикове. Ему мучительно хочется узнать, о чем думает лейтенант. Слышал Васька-Туз о том, что невесту лейтенанта изнасиловали пьяные немцы. Изнасиловали зверски, мерзко, а изнасиловав — убили, бросив в дорожную канаву истерзанный труп девушки.

«Этот даст им теперь перцу, — думает Васька про лейтенанта, — живыми мы, пожалуй, из Смоленска не уйдем».

«... Купи-камушки... купи-камушки...» — свистит клёст.

Ириков резко останавливается и срывает с плеча автомат. Измученное бессонными ночами лицо его изжелта-белое, широкие брови втугую сжаты; двигая

желваками на давно небритых щеках, он колючими, неестественно-голубыми глазами всматривается в верхушки сосен.

— Где он?

Поняв, что лейтенант собирается стрелять по птице, Васька осторожно замечает:

— Лучше б не стрелять, товарищ лейтенант. Звук будет...

«... Купи-камушки... купи-камушки...» — упрямо свистит клёст.

— Где он? — переспрашивает Ириков и, смаху вскинув автомат, стреляет.

— Ушел... — огорченно сообщает Васька, проследив глазами взлетевшую птицу.

К полудню подошли к лесному тракту. Где-то недалеко послышался стук машины. Ириков с Васькой залегли в кустах возле края дороги.

Покачиваясь на ухабах, медленно шла немецкая трехтонная машина с сеном. Ириков приготовил гранату и в тот момент, как только машина поравнялась с партизанами, бросил гранату в кабинку шофера. Охнул взрыв, гулко раскатился по лесу.

Подняв голову, Ириков увидел, что машина свалилась в кювет. Из развороченной кабинки валил дым, потом — вспыхнуло пламя. Сверху, с сена упали или спрыгнули двое солдат. Один ошалело бросился бежать, но почему-то не в лес, а вдоль шоссе. Очередью из автомата Васька-Туз срезал его. Нелепо взмахнув руками, солдат ткнулся ничком в колею. Второй залег возле горящей машины и открыл беспорядочную стрельбу из автомата. Стрелял он через дорогу, в сторону партизан, наугад, не целясь, очевидно стрельбой заглушая страх. Ириков отполз в сторону, выследил его и застрелил. Этот, второй немец был еще жив, когда Ириков подошел к горящей машине. Он лежал на спине, лицо его было так залито кровью, словно покрыто куском кумача; кровавыми руками немец растирал его — словно умывался.

Подошел Васька-Туз, уже успевший обследовать машину, стал возле Ирикова и, отдуваясь, удивленно-восторженно заметил:

— Тю! Как ему морду-то расквасило... А ведь всё еще дышает, гад...

И тихо добавил:

— Это им первая аванса за вашу любушку, товарищ лейтенант.

— Ты... помалкивай... — нахмурился Ириков и, достав наган, в упор три раза подряд выстрелил в кровавое месиво.

Огонь охватил уже всю машину. Занялось сено. Надо было торопиться. Они перешли канаву и хотели было войти в лес, но вдруг заметили, что в кустах можжевельника что-то мелькнуло. Мелькнуло раз и — два.

— Хальт! — крикнул Васька, приседая и прицеливаясь.

Ириков встал за дерево и тоже поднял автомат.

— Вылазь, вылазь... — насмешливо посоветовал Васька. — Вылазь, мать твою...

Пристально всмотревшись в кусты, Васька вдруг широко улыбнулся и весело сообщил:

— Товарищ лейтенант, а ведь, кажись, это баба... Ей-бо, век свободы не видать — баба! — и смело подойдя к кустам, скомандовал: — Вылазь, мадамочка! Нечего! Не у тещи в гостях!

И ткнул в кусты прикладом.